

в системе политического мышления его времени и его самого, в конкретной связи с событиями социальной действительности, его окружавшей, мы только и поймем, что значили и что значат «монархические» темы у обоих этих поэтов. Мы поймем, что значила и насколько необходима и прогрессивна в условиях жизни и мышления Ломоносова была концепция просвещенного абсолютизма; мы вспомним слова Энгельса о том, что на фоне феодальной путаницы «королевская власть была прогрессивным элементом. . . Она была представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противоположность раздроблению на бунтующие вассальные государства» (Соч., т. XVI, ч. I, стр. 445).

С другой стороны, только в этой связи, на фоне идей Монтескье, — и, конечно, всего комплекса событий европейской действительности, породившей эти идеи, на фоне классовой борьбы в исторических судьбах русского дворянства XVIII века мы поймем тот либерально-конституционный смысл, который имеет «монархизм» Сумарокова, который сказал ведь: «монархическое правление, я не говорю — деспотическое, — есть лучшее»; но ведь в России была во времена Сумарокова не монархия, а деспотия — по терминологии самого Сумарокова, или вернее, Монтескье. Таким же образом следует понять и отношение, скажем, Сумарокова или Фонвизина к крепостному праву. Оба они не были абсолюционистами, — это, конечно, так. Но ведь оба они различали в своей политической концепции «должное подчинение» крестьян дворянам, — как они хотели мечтать — лучшим людям, от рабства, которое они проклинали. Между тем, — что на самом деле было в России? В. И. Ленин пишет: «Крепостное право, особенно в России, где оно наиболее долго держалось и приняло наиболее грубые формы, оно ничем не отличалось от рабства» (Соч., т. XXIV, стр. 367). И вот Фонвизин, и даже Сумароков — боролись против рабства, боролись против самодержавной деспотии, несмотря на то, что они оставались дворянскими писателями, несмотря на то, что они не требовали ни республики, ни даже свободы крестьян. Потому что ведь дело вовсе не обстоит так, что мы должны, стремясь понять историко-литературный памятник исторически, понимать его только исходя из злобы дня, породившего его. Было бы вульгарно-социологическим извращением науки требовать от историка литературы сведения значения и смысла данного писателя или произведения к его злободневному смыслу в его время и только. Дело, конечно, вовсе не только в том, что Сумароков, говоря о своих политических идеалах, хотел уколоть Екатерину II или Гр. Орлова, хотел агитировать за Панина и за идеи Монтескье, за пример Англии и Швеции. Дело прежде всего в том, что эти уколы и эта агитация были борьбой против существовавшего режима, были культурной, — не побоюсь сказать, — просветительской пропагандой, и в этом смысле могли выходить и выходили фактически за пределы чисто дворянской (помещичьей) идео-